
УДК 930.1
ББК 63.1
Ш 52

Э.А. Шеуджен,

заслуженный деятель науки РФ, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории, историографии, теории и методологии истории Адыгейского государственного университета, тел. (8772) 57-13-24, E-mail: bases11@yandex.ru

**«Места памяти»:
модная дефиниция или историографическая практика?
(Рецензирована)**

Аннотация. Предпринята попытка дать ответ на вопрос, в какой историографической ситуации возникли и развивались представления о знаковых местах исторической памяти.

Ключевые слова: историография, историческая память, историческое сознание, репрезентация, понятия, «места памяти», традиция.

E.A. Sheudzhen,

Honoured Worker of Science of the Russian Federation, Doctor of Historical Sciences, Professor of Department of National History, Historiography, Theory and Methodology of History, Adyghe State University, ph. (8772) 57-13-24, E-mail: bases11@yandex.ru

**“Memory places”:
a fashionable definition or historiography practice?**

Abstract. An attempt is undertaken to answer a question: in what historiography situation the notions about token places of historical memory have arisen and developed.

Keywords: a historiography, historical memory, historical consciousness, representation, concepts, “memory places”, tradition.

В современной историографической ситуации проблема взаимовлияния исторического знания и исторической памяти приобретает все более выраженный междисциплинарный характер: к ней обращаются философы, историки, социологи, психологи. Сложившийся симбиоз тем более значим, учитывая, что одной из важных составляющих научного знания является трансформация идей в аргументированные понятия, специальную терминологию. Так, для исследователей, занимающихся проблемами исторической памяти, важно восстановив связь между «словами» и «вещами», вернуть в плоскость критического рассмотрения такое понятие как «места памяти», с тем, чтобы избежать вульгаризации его применения.

При такой постановке центральным становится вопрос, каким образом прошлое и предложенная историками его репрезентация влияет на коллективное историческое сознание, обуславливая устойчивость знаковой системы? Стремление ответить на него определяет смысл данной статьи.

М. Хальбвакс утверждал, что движение социальной жизни неизбежно влечет за собой изменение рамочных конструкций, определяющих память о прошлом: «припоминание» или «забвение» тех или иных исторических событий. Именно постепенное «свыкание» с пугающим чуждостью историческим прошлым, преодоление разрыва между «живой» памятью и историей и обуславливает формирование историче-

ской памяти. Причем это «свыкание» представляет путь, пролегающий через концентрические круги, образуемые семьей, социальными связями родственников, дружескими отношениями, а более всего — открытием исторического прошлого благодаря памяти о предках [1]. При этом, между индивидуальной памятью и памятью коллективной существует тесная, имманентная связь.

Значение памяти для реконструкции прошлого — одна из наиболее плодотворных идей М. Хальбвакса: по его мнению, размышляя о прошлом, историк как бы мысленно перебирает разные периоды времени, «словно пустые рамки». В ходе исторической реконструкции эти «рамки» заполняются событиями и образами прошлого. При этом нельзя не учитывать, что социальные рамки памяти подвижны, исторически изменчивы: «они похожи на длинные плоты, сплавляемые по рекам, — так медленно, что по ним можно переходить с берега на берег; и, тем не менее, они плывут, а не остаются в неподвижности» [2]. Именно в процессе научной репрезентации появляется возможность перенести исследовательский интерес в область «воспоминаний» о прошлом, выяснить, каким образом и, главное, почему, конкретные события прошлого фиксировались, закреплялись, модифицировались и даже фальсифицировались, непосредственно влияя на историческую память и уровень исторического сознания.

В «прикладном», «рефлексивном» историографическом плане, появляется возможность не только осмыслить способы фиксации исторической памяти (миф, хроника, история), но и понять механизм «отбора, достопамятного» [3]. Более того, историографическая традиция осмысления образов прошлого, сохранившихся в памяти, проливает свет на структуру и механизм ее передачи потомкам. При этом М. Хальбвакс, понимая память как взаимодействие людей между собой и с предметным миром вещей, практически полностью исключал рассмотрение того, что принято называть «культурной памятью». Книги, архивы, рукотворные монументы

— все то, что традиционно считается хранилищем коллективной памяти, по его мнению, выполняет скорее обратную функцию, избавляя людей от необходимости помнить.

В отношении к прошлому есть ключевой вопрос, не укладывающийся в интеллектуальную матрицу исторической истины: почему человечество вообще хочет знать о существовании прошлого, а не стремится быть похожим на описанное у Ф. Ницше коровье стадо, тихо бредущее по лугам безвременного настоящего, «тесно привязанное в своей радости и в своем страдании к столбу мгновения»? [4]. Размышляя над этим вопросом, Ф. Анкерсмит отмечал, что особый смысл приобретает понимание того, что нас заставляет осознавать прошлое, что должно случиться или уже случилось с какой-нибудь нацией, или с каким-нибудь сообществом, чтобы их захватила проблема собственного прошлого. По его убеждению только после того, как нация, сообщество, культура или цивилизация получили «возвышенный исторический опыт», прошлое и его осознание становится неотвратимой реальностью. «Прошлое для них является такой же частью их самих, как наши конечности являются частями наших тел — и забвение прошлого станет тогда чем-то вроде интеллектуальной ампутации» [5].

Развивая эту мысль, имеет смысл подчеркнуть, что сложность структуры исторической памяти обуславливается характером происходивших в прошлом событий. Принято считать, что в исторической памяти фиксируются наиболее значимые события, связывающие пространство и время. Однако в каждой социальной среде, как правило, складывается свой взгляд на проблему значимого, важного, существенного в истории. В то же время в памяти каждого народа есть события, как бы вневременные, память о которых сохраняется в веках и передается от одного поколения к другому.

В связи с этим особого внимания заслуживает утверждение М. Хальбвакса, что память не только создает искаженный образ прошлого, но и упорно

отстаивает этот образ перед лицом меняющейся реальности. Более того, в эпохи социальных потрясений и переворотов коллективное сознание особенно часто и активно обращается к памяти о прошлом, стремится укреплять новые социальные институты при помощи опоры на традиции, что, как правило, несет в себе мифологическое начало. «Общество обязывает людей время от времени не просто мысленно воспроизводить прежние события своей жизни, но также и ретушировать их, подчищать и дополнять, с тем, чтобы мы, оставаясь убежденными в точности своих воспоминаний, приписывали им обаяние, каким не обладала реальность» [6]. В конечном итоге, именно извне, из состояния общественного сознания, человек заимствует исторические «знаки памяти», вокруг которых группируются индивидуальные и коллективные воспоминания.

Особое значение для познания структуры памяти имеют идеи Ф. Йейтс. Обращаясь к классической традиции искусства памяти (мнемотехнике), она подчеркивала, что манипуляции с памятливыми образами, так или иначе влияют на душу человека, запечатлевая в памяти некие «образы» и «места», образуя архитектурную схему. Архитектура места, часто представляется в виде «знакового сооружения»: дворца или театра [7]. Благодаря этим эстетически привлекательным «знакам» глубинная структура памяти приобретает более устойчивый характер, а мнемонические места становятся своеобразными ориентирами для историков.

В этом плане особое впечатление производят рассуждения А. Тойнби о «втором» греческом образовании. В течение двенадцати лет, начиная с десяти и включая выпускной экзамен в Оксфорде, он упорно изучал древнегреческий язык и античную историю, тем не менее, для завершения образования, счел необходимым пешком исходить «вдоль и поперек» изученный по книгам греко-римский мир. Именно год «бродяжничества» стал для него «венцом и завершением» интенсивного греческого образования, позволил не толь-

ко прикоснуться к «немым» реликтам античности, но и познакомиться, более того понять, «живых греков», что и стало для него «вторым греческим образованием» [8].

Примечательно, что возникновение нового информационного общества, усиление глобализационных процессов повлекло переоценку традиционных форм передачи и сохранения памяти. Не случайно Ф. Бродель, работая над трудом, посвященным вопросу национальной идентичности французов, задавал себе и своим читателям непростой вопрос: «что такое Франция» [9]. «Франция — это память», — так прореагировал на эту проблему П. Нора [10], инициатор одного из самых успешных исторических проектов XX века. При его непосредственном участии во Франции было предпринято семитомное издание «Места памяти», к реализации которого были привлечены многие известные историки. Целью проекта стало преодоление стереотипов национальных мифов, стремление вернуть память под контроль историков в условиях, когда прошлое становится непредсказуемым, слишком зависящим от императивов настоящего.

С этого времени понятие «места памяти» прочно вошло в историографию, более того, стало предметом устойчивого интереса. «Места памяти» не являются местами в узком, географическом понимании этого слова. Ими могут быть люди, события, здания, книги, песни и другие предметы «окруженные символической аурой», призванные «удерживать» в памяти представления общества о самом себе и своей истории. В издании, редактируемое П. Нора, вошли статьи о французском национальном флаге и гимне, о Жанне д'Арк, о национальной библиотеке и т.п. Обращаясь к «местам памяти», участники проекта изучали не только материальное или историческое ядро этого феномена, но и его отражение в сознании, сферы его восприятия. Источниками для изучения «знаковых» мест стали не только тексты, картины и предметы, но и памятники исторической мысли, газетные статьи, доклады

на исторических юбилеях, предметы повседневной жизни, дающие информацию об определенном событии или человеке.

Публикация этого оригинального труда стала импульсом для активного обсуждения самых разных аспектов отношения к прошлому, одного поколения к другому. Обратившись к исторической памяти французов, радуясь «объятиям» этой памяти, П. Нора заставил историков всерьез воспринять «траекторию между историческим субъектом и прошлым», задуматься над тем, когда определенное «место памяти» получило то или иное символическое значение и как оно менялось в течение времени. Фактически была «открыта» новая область исторических исследований, а предпринятые изыскания уже принесли «ценнейшие прозрения», найдя последователей в разных европейских странах [11]. «Время темы памяти, — отмечал П. Хаттон, — пришло, когда ученые стали понимать связь с историей коллективной ментальности» [12].

Особенно значим подобный подход для национальных сообществ, стремящихся понять общее прошлое. В последние десятилетия исследователи этногенетических процессов все больше занимаются символическим аспектом процесса формирования нации, в частности «местами памяти». При этом утверждается точка зрения, что определенные группы людей (политики, историки, журналисты, литераторы), стремясь усилить самоидентификацию определенных этнических групп, могут сознательно «конструировать» историю своего народа, более того, формировать гипермнезию, «навязчивую память» или гипомнезию, «охранительное вытеснение памяти». Обращаясь к этой проблеме важно понять, что народы помнят о прошлом, что стремятся вспомнить и что хотели бы забыть.

Есть и еще одна сторона проблемы. Фактически до последних десятилетий считалось, что в основе представлений о прошлом лежат научные знания. Однако изучение этой проблемы на материалах стран Европы и США показало,

что массовые представления о прошлом принципиально отличаются от профессиональных [13]. Исследователи обратили внимание на то обстоятельство, что в структурах повседневности потребность в историческом знании зачастую реализуется не через академическую науку, а через более близкие массовому сознанию формы культуры: обращение к семейным архивам, генеалогиям, коллекционированию бытовых вещей и т.п. Благодаря этому явлению в научный оборот не только было введено огромное количество новых фактов, но произошла принципиально значимая переориентация представлений о народах «вне истории», простых людях исторического закулисья.

Подобная практика, даже учитывая, что большая часть семейных историй за пределами трех последних поколений генеалогического древа, как правило, навсегда утрачивается, способствует созданию мозаичного, но от этого не менее яркого, полотна индивидуализированных «мест памяти». Развивая мысль о способности человека строить отношения с тремя мирами: миром предшественников, современников и преемников, П. Рикёр отмечал, что находя опору в рассказах о предках, связь поколений прививается к огромному генеалогическому дереву, корни которого уходят далеко в глубины истории. Именно через память о предках передается «смутный шум — как бы волнение истории» [14].

Примечательно, что «места памяти», несмотря на определенную неполноту, обладают удивительной способностью сохранять интеллектуальную и моральную власть над настоящим, удерживать в сознании людей основные исторические события прошлого вплоть до превращения исторического знания в различные формы мировоззренческого восприятия накопленного опыта, традиции его фиксации в мифах, легендах, преданиях и, что особенно значимо, в исторических сочинениях. Память — это всегда явление, относящееся к настоящему, а история является репрезентацией прошлого, фиксирующей разрыв с завершенным,

окончательно ушедшим прошлым, вместо которого появляются «истории истории», «историографическое сознание», что априорно выражает разрушение истории-памяти критической историей.

С иронией П. Рикёр писал о том, что едва ли не в тоне проклятия П. Нора восклицает: «Архивируйте, архивируйте, всегда что-нибудь да останется!». Архив «есть уже не более или менее сознательное сохранение живой памяти, а намеренное и организованное сокрытие памяти утраченной» [15]. В связи с этим возникает образ — «памяти, захваченной историей»: память становится памятью «архивистской», «бумажной памятью», возникает «одержимость архивами», чрезмерное пристрастие к оставшимся «следам» прошлого. Именно в этом трагический парадокс: с одной стороны, пресловутый долг памяти призывает не забывать прошлое, но, в то же время, чудовищным предстает призрак памяти, которая якобы ничего не забывает.

Важные мысли П. Рикёра связаны с явлением «историзации памяти», подкрепляющей тезис, согласно которому именно «в движении истории память открывается самой себе в своих глубинах» [16]. Прошлое, так или иначе, продолжает существовать в настоящем, в то же время настойчиво заявляет о себе потребность накапливать воспоминания и архивировать память о безвозвратно ускользающем прошлом. «Поколение является, и всегда было, смесью памяти и истории, но в том плане и в тех пропорциях, которые, как представляется, с течением времени претерпели инверсию» [17].

В данном контексте процесс историзации памяти оказывается строго симметричным процессу, в котором история осуществляет свою корректирующую функцию в отношении памяти постоянно выполняющей функцию матрицы, предохраняющей от крайностей: с одной стороны, претензии истории на превращение памяти в один из ее объектов, а с другой — претензии коллективной памяти на подчинение истории путем злоупотребления памятью, каковыми могут стать мемориаль-

ные церемонии, навязываемые политической властью или инициативными группами давления. Но при этом не только сохранение памяти, но столь же продуктивной может быть «политика забвения», когда сознательно или по воле случая уничтожаются конкретные пласты памяти.

В современной историографической ситуации особый смысл приобретает проблема забвения. Именно прошлое, по мнению П. Рикёра, в его двояком значении, мнемоническом и историческом, оказывается утраченным вследствие забвения. Забвение, в самом общем виде, предстает «как ущерб, нанесенный надежности памяти». В этом плане сама память воспринимается как борьба против забвения. Это трагическое явление проходит мрачной тенью через всю историю цивилизаций. Разрушение архива, музея, города, или других свидетелей прошедшей истории, означает забвение. В данном контексте «забвение есть символ уязвимости всего исторического состояния в целом» [18]. Но забвение — не только враг памяти и истории: один из наиболее важных выводов П. Рикёра состоит в том, что существует также забвение-резерв, являющееся ресурсом для памяти и истории.

Обращаясь к понятиям «прошлого», «настоящего» и «будущего» П. Рикёр отмечает, что невозможно пройти мимо простого факта, что историки имеют дело в основном с теми, кто некогда умер. Отчасти исключение составляет история настоящего времени, «поскольку призывает на свой суд живых» в качестве свидетелей, переживших события. На первый взгляд, представление о прошлом как о царстве мертвых осуждает историю на то, чтобы предлагать читателю только театр теней, которым не дают покоя живые. Развивая идеи историков самых различных взглядов на эту проблему (Ж Мишле, М. Фуко, Р. Коллингвуд и др.), П. Рикёр делает жутковатое заключение: «остается один выход: считать историографическую операцию письменным эквивалентом социального ритуала захоронения, погребения... Именно этот

акт погребения историография превращает в письмо» [19].

Так или иначе, историки не только используют «резервы» исторической памяти, но и участвуют в ее формировании, определяя объем «памяти». Многие столетия именно историки решали, на свой страх и риск, какие события прошлого являются историческими и могут быть занесены в анналы истории. В этом смысле историки, выполняя своеобразную социальную миссию, являются ответственными за «отбор» и «толкование» свидетельств, достойных быть увековеченными в массовом сознании. Осмысленная деятельность историка заключается в разработке на основе документальных следов наиболее правдоподобной гипотезы о том, каким могло быть реальное прошлое. При этом ни одна из выдвинутых историком гипотез не поддается проверке путем сопоставления с несуществующим прошлым как таковым. «Важнейший вывод здесь, — пишет Ф. Анкерсмит, — состоит в том, что единственным критерием для оценки достоинств исторических трудов является их правдоподобие» [20]. При этом если говорить об интеллектуальном опыте историописания, то он приближает нас не столько к истине при реконструкции прошлого, сколько к пониманию значимости опыта, закрепленного в памяти.

Анализируя «модную» проблематику исследований, бесконечные эпистемологические искания модернизма и постмодернизма Ф. Анкерсмит заявляет, что не тропы, не дискурсы, не нарративы, не категории, не языковые игры и даже не коллективная память (о которой много писали современные теоретики истории — такие как М. Хальбвакс и П. Нора) не способны дать завершеного представления о прошлом. Развивая эту мысль он делает шокирующее замечание: прошлое как таковое всегда должно «внушать нам ужас» [21].

Разумеется, познавательные усилия историков всегда направлены на то, чтобы постичь прошлое как таковое, в его «не представимой девственности» [22]. И тем не менее серьезные исто-

рики, предлагая свою «точку зрения» на описываемые события, как правило, не придают своим выводам характера абсолютной истины, напротив, их выводы зачастую оказываются основанием для научных дискуссий, способствующих приближению к истине. Память и история как бы «проникают» друг в друга: поэтому первой задачей историка становится сохранение исторической памяти, исправление ее «отклонений» от прошлого, сравнение ее сомнительных утверждений с выводами, основанными на документальных свидетельствах. Конечно, при таком положении не просто выделить компоненты, действительно имевшие место в прошлом или «приписываемые» изучаемым явлениям.

Важно отметить, что с изменениями способов коммуникаций менялось использование резервов памяти, а, следовательно, и восприятие прошлого историками, что не могло не влиять на уровень коллективного исторического сознания: в сознании то явно проявляется ностальгия по прошлому, то доминирует надежда на будущее. Одни народы, считая себя связанными традициями, хотят любыми способами закрепить их в современном обществе. Другие же, стремятся решительно разорвать связи с прошлым, склоны к забвению своей истории, к ее критике, с нетерпением ждут и восторженно принимают любые разрушительные новшества.

Поэтому неудивительно, что историческая память нередко становится ареной идеологических конфликтов, душевных драм и трагедий. «Глубина и форма нашей коллективной памяти, — как подчеркивал П. Хаттон, — отражают конфигурацию социальных сил, соперничающих за наше внимание» [23]. Многое из того, что имело место в прошлом, затрагивает современные интересы. Более того, на состояние исторической памяти нередко оказывают влияние факторы, лежащие за пределами исторической науки, такие как социальный заказ или коммерческие интересы. При этом ангажированность истории, переоценка как и недооценка прошлого, свержение или сотворение

кумиров способны разорвать хрупкую нить исторической памяти. «То, как мы чувствуем прошлое не менее, а возможно, даже более важно, чем-то, что мы о нем знаем» [24].

Развитие средств массовой информации, электронная революция в коммуникациях привели к реорганизации системы знания. В наши дни воздействие на память общества приобретает самые разнообразные формы: от популяризации научных исследований по истории, выступления в роли экспертов, до создания кинофильмов на историческую тематику и организации праздников с реконструкцией событий исторического прошлого. Так или иначе, историки участвуют в формировании коллективной исторической памяти, включаются в альянс «власти и истории», определяя объем «памяти» и «забвения». Причастность власти к процессу историописаний стала одним из выраженных способов влияния на историческое знание.

В этом смысле историки, выполняя своеобразную социальную миссию, являются ответственными за «отбор» и «толкование» свидетельств, достойных быть увековеченными в массовом сознании. Не случайно в научный оборот все чаще входит понятие «культивируемая память», связанное с ролью историка в формировании коллективного исторического сознания. Так, историки обратили внимание на то обстоятельство, что даже в курсах истории, ориенти-

рованных на обучение молодежи, одни и те же исторические факты в разных странах трактуются в зависимости от национальных интересов, оказываются «в плену» у идеологии. В конечном счете истории так и не удалось стать в полной мере «чистой наукой», свободной от идеологических и политических интересов: над ней как дамоклов меч, по-прежнему, тяготекот современные общественные интересы.

Вне всякого сомнения, сохранение исторической памяти одна из сложнейших интеллектуальных проблем. Именно в памяти происходит закрепление не только опыта прошлого, ускользающего настоящего, но и предвидение будущего. Сложившиеся в современной науке подходы к пониманию исторической памяти, ее «знаковой» системы, способны придать большую теоретическую основательность анализу процессов характерных для развития исторического знания. Все более четко осознается необходимость научной трактовки противоречивой, специфической сущности исторической памяти, повышения уровня эмпирической интерпретации имеющихся свидетельств, характеризующих ее состояние. В то же время нельзя не учитывать, что историческое знание живет активной жизнью, оно не только воссоздает образы прошлого, но и вызывает широкий спектр эмоций — восхищения и скорби, поклонения и страдания, что в полной мере соответствует противоречивости реальной жизни.

Примечания:

1. Хальбвакс М. Коллективная память. М., 1997. С. 111.
2. Там же. С. 336.
3. Барг М.А. Эпохи и идеи: становление историзма. М., 1987. С. 6.
4. Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 161.
5. Анкерсмит Ф. Возвышенный исторический опыт. М., 2007. С. 14.
6. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М., 2007. С. 151.
7. Йейтс Ф. Искусство памяти. СПб., 1997. С. 2-26.
8. Тойнби А. Пережитое. Мои встречи. М., 2003. С. 23-25.
9. См.: Бродель Ф. Что такое Франция? Пространство и история. М., 1994.
10. См.: Нора П. Франция-память. СПб., 1999.
11. Анкерсмит Ф. Указ. соч. С. 362-363.
12. Хаттон П. История как искусство памяти. СПб., 2003. С. 8.
13. Савельева И.М., Полетаев А.В. Социальные представления о прошлом, или знают ли американцы историю. М., 2008. С. 7.
14. Рикёр П. Память, история, забвение. М., 2004. С. 548.
15. Там же. С. 561.
16. Там же. С. 543.

-
17. Там же. С. 567.
 18. Там же. С. 402.
 19. Там же. С. 510.
 20. Анкерсмит Ф. Указ соч. С. 171.
 21. Там же С. 5.
 22. Там же. С. 4.
 23. Хаттон П. Указ.соч. С. 202.
 24. Анкерсмит Ф. Указ соч. С. 32.

References:

1. Halbwachs M. On collective memory. M., 1997. P. 111.
2. Ibidem. P. 336.
3. Barg M.A. Epochs and ideas: the formation of historicism. M., 1987. P. 6.
4. Nietzsche F. On the Use and Abuse of History for Life // Works: in 2 v. V. 1. M., 1990. P. 161.
5. Ankersmith F. Sublime historical experience. M., 2007. P. 14.
6. Halbwachs M. The social frameworks of memory. M., 2007. P. 151.
7. Yates F. The art of memory. SPb., 1997. P. 2-26.
8. Toynbee A. Experiences. Acquaintances. M., 2003. P. 23-25.
9. See: Braudel F. What is France? Space and history. M., 1994.
10. See: Nora P. France-memory. SPb., 1999.
11. Ankersmith F. Mentioned work. P. 362-363.
12. Hutton P. History as the art of memory. SPb., 2003. P. 8.
13. Saveljeva I.M., Poletaev A.V. The social conception of the past, or whether the Americans know history. M., 2008. P. 7.
14. Ricoeur P. Memory, history, oblivion. M., 2004. P. 548.
15. Ibidem. P. 561.
16. Ibidem. P. 543.
17. Ibidem. P. 567.
18. Ibidem. P. 402.
19. Ibidem. P. 510.
20. Ankersmith F. Mentioned work. P. 171.
21. Ibidem. P. 5.
22. Ibidem. P. 4.
23. Hutton P. Mentioned work. P. 202.
24. Ankersmith F. Mentioned work. P. 32.